

Ю.И. АРХИПОВ (МОСКВА)

**«ВЛЕЧЁТ МЕНЯ СТАРИННЫЙ СЛОГ...» (БЕЛЛА АХМАДУЛИНА)**

«Нас мало – нас только четверо...». Теперь уж не припомнить, кто из них, четверых, это сказал. И не придет в голову залезать по этому поводу в справочники. Потому как трое из этих четверых за минувшие полвека слишком явно поблекли. «Жизнь распахнулась» (Цветаева), читательская жизнь тоже; вся русская поэзия XX века у нас как на ладони, и слишком очевидно, что место «эстрадников» шестидесятых годов в ней где-то ближе к периферии. Попса она и в поэзии попса. Не даром Рождественский и Евтушенко более всего отпечатались в своем времени текстами песен, а Вознесенский «лёг» под Таганку, то есть предоставил вирши для самодельных песенок под гитару.

Но можно не любить попсу и услаждать себя голосом Тамары Гвердцители – оправдывая себя тем, что «она – совсем другое!».

Так же любима многими Белла Ахмадулина – вопреки всему, вопреки всем слабостям, срываю, просчетам: своим собственным или среды, компании, оседлавшей подмостки. Да, она бывала не чужда стратегическим расчетам успеха не хуже того же Евтушенко; да, она вкусово могла соскользнуть даже до уровня Вознесенского, любившего пощеголять метафорами типа «Чайки – это плавки Бога». (А у нее в

стихотворении, посвященном Геннадию Хазанову – что само по себе увесистый ляпсус – сказано «под Вознесенского»: «Светофоры добры, как славяне».) Да, она не брезговала щегольнуть в стихах тем, что вот, мол, небожитель, а стоит в очереди как все – «позади паренька удалого и старухи в пуховом платке». Могла, удостоив хождением в гости некоего вельможного литературоведа с его такой же начитанной и тоже склонной к снобизму женой, долго обличать их потом в поэме за то, что, гляньте, как ловко устроились в жизни: поэт страдает, а они-де наживаются на этих страданиях в окружении столового серебра, ковров и торшера. Ахматова, знавшая толк в истинной культуре и ее сложном устройстве, как мастер-часовщик в брегете, дружившая с Жирмунским, Виноградовым и Берковским, от такого виршеплетства «молодых» морщила нос, воспринимая даже фамилию Ахмадулиной как пародию на себя.

Все так, и все же, все же, все же... Ахмадулину нельзя не любить! За чистоту нежнейшего лепетанья, пусть и вычурного порой до приторности, словно напрашивающегося на пародию, но как-то таинственно защищенного от нее. За любовь – ко всем, ко всему небесному и земному. За единственную интонацию, которую ни с кем не перепутаешь. За врожденную естественность – это при всей-то вычурности – вот парадокс! Вычурным был також, к примеру, и Бальмонт, но он и жеманен, а Ахмадулина не придумывает себя, не «ломается» – было когда-то в ходу у нас такое словцо, применимое к задавакам. Она такая и есть. Такой создал ее Бог. Даровав нам в утешение. Любовь ведь можно выразить и открытками с голубками – и самую настоящую, истинную любовь, далекую от пошлости и скабрёза. «Иду – поить губами клюв птенца...». Вот именно!

О жест зимы ко мне.  
холодный и прилежный

Жест, конечно же, – жест. Во всем жест. Поза. Маленькая хрупкая балерина нашей поэзии. «Всегда мила» (Вертинский). Танцует какие-то старинные менуэты – под вроде бы где-то – во сне? – уже слышанные, но и явно еще никогда не звучавшие такты. Новая, но и какая-то вечная чаровница. Может – статуэтка на комод. А может и белокрылый ангелок, склонивший беленое же чело над друзьями. Для коих какая отрада быть хранимыми – ею.

Я думаю: как я была глупа,  
когда стыдилась собственного лба –  
зачем он так от гения свободен?  
Сегодня, став взрослее и трезвей,  
хочу обедать посреди друзей –  
лишь их привет мне сладок и угоден.

«А я люблю товарищей моих...». Это ее товарищество распространено на все пространство России и русской культуры. Никто из современных поэтов не посвятил столько стихотворных признаний в благодарности, нежности и любви к Учителям, предшественникам – Пушкину, Лермонтову, Тютчеву, Мандельштаму, Пастернаку, Ахматовой, Цветаевой. При этом Ахмадулина вовсе не склонна поиграть с чужими текстами, темами, интонациями, она не стилизует свой «мессидж» (как, например, Евтушенко в известном цикле о русских классиках XX века). Нет, она остается собой, это ее личное подношение – от девочки в белом школьном фартучке, «свободной от гения» – к ним, гениям, увенчанным дантовым лавровым венком. С Ахмадулиной так хорошо, потому что она, хоть и не от мира сего, но – своя и словно предстательница наша в сонме тех, до которых нам, грешным, не дотянуться, как до ангела с крестом на Александрийской колонне. А она летает где-то там, с ним, с ними рядом, пусть и робея приблизиться, чтобы не сжечь себя на их небывалом огне. «Небывалая осень построила купол высокий...» (Ахматова). Да и все у них такое – небывалое. Но вот же выискался и снарядился от нас, обывателей, к ним, небывалым, посланец. С чистым горлышком скворец. Или щегол – если угоднее эта, мандельштамова, принадлежность.

... Как-то нам случилось пересечься на поэтическом фестивале в Германии, я переводил ее на сцене, потом мы много разговаривали в баре, вдохновенные рейнским. Среди прочего не удержался я – по нескромной русской привычке – и от правды-матки, поделился своим давним недоумением, вызывая на откровенность: как же, мол, Вы, вся такая хрустальная, терпите подле себя и поддерживаете в печати всем известного одного прощелыгу? Белла улынулась прямо-таки смущенно и сказала с легким, обращенным к моему неразумию укором: «Но как же иначе? Ведь он – мой товарищ».

Прозрачным крылом этой всепрощающей нежной приязни да укрыт будет всякий, кто обратится к ее стихам.